

Демодернизация или внутренние противоречия модерна?

Светлана Щербак

Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины

ORCID: 0000-0003-0458-5176

Резюме. *Статья посвящена критике концепта демодернизации как диагноза современных негативных социально-политических явлений. Основной недостаток концепта демодернизации в том, что он предполагает внутреннюю когерентность и непротиворечивость модерна – не процесса модернизации, а самого движущего идеала модерна.*

Однако в программе модерна содержатся внутренние противоречия, которые проявляются, в частности, в напряжении между свободой и равенством, между индивидуальной автономией и общей волей, а также между нормативным ядром модерна и его институциональными практиками. Нормативное ядро модерна также претерпевает изменения – его составляющие не образуют внутренне непротиворечивую систему, но свободно и гибко соединены друг с другом; исторически меняется трактовка этих составляющих и их констелляция. Характерной особенностью модерна является также установка на рациональную реконструкцию общества на основе утопического образа идеального общества. Исходя из этого, этнические чистки и Холокост, связанные с идеей самоопределения народа, являются «темной стороной» модерна.

Неолиберализм, ставший базовой идеологической программой последней трети XX века, также воспроизводит характерные особенности модерна. Он соединяет в себе пафос морального универсализма и притязания рационального господства. Неолиберальная политика приводит к ослаблению государства и усилению глобализированных элит, росту неравенства и размыванию среднего класса. Это, в свою очередь, приводит к кризису либеральной демократии и росту популизма.

Таким образом, явления современности, подпадающие под диагноз демодернизации, есть следствие реализации современного идеала свободы в его неолиберальной трактовке. Они выявляют внутренние противоречия самой программы модерна.

Ключевые слова: *демодернизация, модерн, неолиберализм, популизм, кризис либеральной демократии.*

1. Кризисные явления современности

Социально-политические концепции больше, чем какие-либо другие, связаны с текущей политической повесткой дня – они отражают актуальные проблемы и влияют на самопонимание обществ и выработку решений текущих проблем. Так, в середине XX века была очень популярна тема модернизации – она была связана с практической потребностью в выработке программы развития для постколониальных стран, возникших после II Мировой войны. Во время противостояния двух систем советский вариант развития был весьма привлекателен, и Западному блоку нужно было противопоставить ему внятную и не менее привлекательную альтернативу. В 1950-60-е годы XX века приобрели популярность теории догоняющей модернизации, согласно которым социальные и экономические структурные трансформации должны привести к ценностным трансформациям по образцу западных и становлению либеральной демократии.

В то же время, были еще свежи воспоминания об ужасах войны, Холокосте, нацизме. Теории модернизации, продвигая либеральную демократию, стремились дистанцироваться от этих явлений, показать, что они не имеют ничего общего с модерном и западной цивилизацией, а являются своеобразным средневековым атавизмом, результатом влияния традиционных, домодерных социальных сил, не до конца преодоленных модерном. Классическим теориям модернизации присущ взгляд на модерн как на некое интегрированное, когерентное целое –

нормативный идеал, получивший свое воплощение в западных обществах (которые, как правило, объединяются в коллективный «Запад») в течение последних двух столетий (Sachsenmaier, 2002).

Этот взгляд был достаточно убедителен, поскольку послевоенный период был периодом господства ограниченного либерализма (embedded liberalism) (Harvey, 2005, Mann, 2013), или же демократического капитализма (Streeck, 2011), ориентированного на достижение социальной справедливости. В то время распространилось убеждение, что капитализм и демократия органично дополняют друг друга и тесно взаимосвязаны, и что экономический рост в результате модернизации ведет к демократизации обществ (Lipset, 1959). Иными словами, сформировалось представление о «нормальности» достигнутого баланса экономической и политической свободы и благосостояния. Только некоторые левые социальные теоретики (Хоркхаймер, Адорно, Маркузе) продолжали марксистскую традицию критики модерна, указывая на то, что он не исполнил своих обещаний эмансипации, породив новые формы несвободы, контроля, принуждения и эксплуатации.

Падение советского режима, переход Китая к рыночной экономике и растущая волна глобализации, открывшая границы для капитала и потоков информации, товаров, туристов и, в меньшей мере, трудовой миграции породили ощущение безальтернативности либеральной демократии и капитализма. В литературе XX века эта точка зрения – безоговорочной победы либеральной демократии – полнее всего воплощена в книге Фукуямы «Конец истории» (Fukuyama, 1992). Такая трактовка была в некотором смысле оправданна – левая альтернатива

утратила свое влияние с распадом СССР, правые же идеологии были еще замараны памятью о Второй мировой. К тому времени было очевидно, что весь мир, включая недавние коммунистические страны, движется в одном – либерально-демократическом – направлении. Авторитарные правые и левые режимы, вроде Саудовской Аравии или КНДР, выглядели атавизмом.

Впечатление глобального прогресса не было поколеблено многочисленными экономическими кризисами в развивающихся странах в 1990-2000х, которые трактовались экономическим мейнстримом как результат недостаточно глубокой имплементации этими странами реформ, рекомендованных такими международными финансовыми институтами, как МВФ и Всемирный Банк (ВБ). В глобальном же масштабе наблюдалось беспрецедентное возрастание достатка и свободы, распространение демократии, появление новых технологий, повышающих продолжительность жизни и радикально меняющих повседневность. Многие миллионы людей преодолели порог бедности в развивающихся странах, главным образом за счет быстрого экономического роста азиатских стран, особенно Индии и Китая (Rodrik, 2006). Более того, как показали Джоунс и Кленов (Jones, Klenow, 2016), если, учитывая помимо ВВП, более широкие показатели благосостояния – а именно, уровень потребления, продолжительность жизни, свободное время и уровень неравенства, в среднем рост благосостояния между 1980 и серединой 2000-х оказывается выше, чем рост дохода на душу населения. Он составляет 3,1% против 2,1% роста дохода, прежде всего за счет растущей продолжительности жизни.

Однако к началу XXI века стало очевидно, что не все так радужно. Как оказалось, рост благосостояния сопровождается ростом имущественного неравенства (Nino-Zarazua, Roore, Tarp, 2016) – вопреки прогнозам экономистов, опиравшихся на гипотезу «кривой Кузнецца», согласно которой в результате экономического роста неравенство должно постепенно снижаться. Эта тема стала особенно активно обсуждаться после выхода книги Т. Пикетти (Piketty, 2014). Особенно тревожными стали данные о стагнации и упадке доходов среднего класса в развитых странах (Milanovic, 2016), который является залогом стабильности демократии. В глобальном плане исследования отмечают снижение относительного неравенства за последние десятилетия, но применение абсолютных или даже центристских мер показывает существенный рост глобального неравенства (Nino-Zarazua, Roore, Tarp, 2016).

В 2008 году разразился Большой финансовый кризис, который привел к глобальной рецессии и способствовал усилению неравенства. Его последствия до сих пор не преодолены, и многие пишут о вероятном сценарии разворачивания следующего масштабного кризиса в ближайшие годы (Hay, Hunt, 2018). Глобальная рецессия 2008 года трактуется экономическим мейнстримом как временное отклонение от устойчивого состояния хорошо-интегрированной системы. Однако некоторые авторы (Streeck, 2011; Piketty, 2014) считают, что период после II Мировой войны был исключением, отклонением от нормального развития капиталистического общества в результате уникального стечения обстоятельств. Нормой же для капитализма является

нестабильность, постоянные кризисы и неискоренимое противоречие между капиталистическим рынком и демократической политикой.

В настоящее время темой номер один является кризис либеральной демократии в развитых странах (Luce, 2017; Emmott, 2017; Zakaria 2013; Colgan, Keohane, 2017; Crouch, 2017). Речь идет о сведении демократии к формальным процедурам, усилении элит, снижении уровня политического участия среди широких масс населения вследствие ощущения потери возможности влиять на принятие решений, снижения доверия к политическим партиям и элитам в целом, и тому подобное. В этой связи возникает проблема популизма, играющего на антиэлитарных настроениях масс, как угрозы для либеральной демократии – эта тема является одной из самых актуальных и обсуждаемых сейчас (Mudde, Kaltwasser, 2017); впрочем, некоторые авторы – например, Э. Лакло (Laclau, 2005) – трактуют популизм как проявление собственно демократии. Примечательно, однако, что речь идет не только о развивающихся странах, но также о странах с «устойчивой демократией». Рост популярности ультраправых во Франции, избрание Трампа в США, Brexit в Британии, правые в парламенте Австрии, Швеции, Венгрии, рост левого популизма в Южной Америке – по всему миру катится эта волна.

Иван Крастев пишет об антилиберальной революции в Восточной Европе (Krastev, 2018), обращая внимание на приход к власти популистских партий, стремление демонтировать либеральную систему сдержек и противовесов и говорить от имени народа. В странах бывшего СССР также наблюдается нарастание авторитарных тенденций (Minakov,

2018), особенно в России, открытое противостояние которой с США многие аналитики называют «новой Холодной войной».

В этой связи, а также в связи с избранием Трампа и объявленным им курсом на экономический национализм и протекционизм обсуждается кризис либерального мирового порядка (Ikenberry, 2018; Colgan, Keohane, 2017; Duncombe, Dunne, 2018) – очевидно, идет борьба за его реформирование между разными странами в своих интересах. Впервые за время после окончания II Мировой войны встал вопрос о единстве «коллективного Запада» и незыблемости правил миропорядка.

2. Теории демодернизации: pro et contra

Эти «откаты» от «нормального» развития стремятся осмыслить и объяснить теория демодернизации. Термин «демодернизация» широко использовался ранее для описания возврата к более примитивным формам хозяйствования и деиндустриализации и, как таковой, не нес в себе глубокой теоретической нагрузки. Более широкая идея демодернизации как краха относительно дифференцированной современной институциональной основы и замены ее более примитивными институтами была предложена в свое время Ш. Эйзенштадтом (Eisenstadt, 1973). Он анализировал «срывы модернизации» в развивающихся странах в середине XX века, после проведения в них реформ и установления демократии. Однако позднее он изменил свою точку зрения, придя к выводу о формировании

множественности модернов¹ (Eisenstadt, Schluchter, 1998; Eisenstadt, Riedel, Sachsenmaier, 2002).

Современные теории демодернизации во многом продолжают линию раннего Эйзенштадта, принимая во внимание регресс не только экономической структуры, но и социальных и политических институтов. Так, А.Эткинд (2013), ссылаясь на Норта, Уоллиса и Вайнгаста (North, Wallis, Weingast, 2009), трактует модернизацию как реализацию идеалов меритократии²: «современные общества – это общества открытого

¹ Теория множественных модернов трактует модерн не как нормативный идеал, в направлении которого так или иначе движутся все общества, но как исторически сформулированный проект, ставший движущей силой дальнейшего развития сначала европейских сообществ, а позднее и стран Третьего мира – по аналогии с экспансией мировых религий. Соответственно, акцент делается не на «отклонениях» от образца, но на сравнительном изучении разных обществ, а также анализе их внутренней динамики. Представления о стадильности развития обществ и эволюционизм при этом отбрасываются: «Всякий эволюционистский подход, основывается ли он на отделении формы (структуры) от содержания или нет, использует стадильную модель, в которой различия трактуются как недостатки. Выше также означает лучше, неважно, какой критерий используется для оправдания иерархии. Сравнительный подход порывает с этой моделью, основанной на ценностных суждениях. В противоположность историцизму, он интерпретирует различия как отклонения – но не от нормы, а от идеального типа, используемого исключительно в эвристических целях» (Eisenstadt, Schluchter, 1998: 7).

² Авторы книги «Насилие и общественные порядки» делают акцент вовсе не на меритократии, но на том, как применяется насилие. В частности, речь идет о *безличности и конкуренции* в экономике и политике как основных характеристиках порядков открытого доступа, что подразумевает безличное применение правил, независимо от личности и статуса. В то же время, основной чертой порядков ограниченного доступа – естественных государств – является то, что порядок держится на *личных* отношениях и договоренностях: элиты – члены господствующей коалиции соглашаются уважать привилегии друг друга и ограничивают доступ к этим привилегиям для других членов общества. Меритократия же зависит не только от безличности и соблюдения правил, но и от других обстоятельств, обеспечивающих равенство возможностей – например, доступ для выходцев из низов к хорошему образованию и медицине в условиях высокой платы за услуги. В этой связи многие авторы (Milanovic, 2016; Piketty, 2014; Stiglitz, 2012; Sandel, 2009) указывают на то, что

доступа в элиту; современность и есть открытость элиты» (Эткинд, 2013). При этом меритократия приравнивается к «эффективной демократии», а экономический рост и эффективная демократия трактуются как взаимосвязанные, исходя из неинституциональной теории Норта, Уоллиса и Вайнгаста (North, Wallis, Weingast, 2009) и Аджемоглу и Робинсона (Acemoglu, Robinson, 2012). Демодернизация, по Эткинду, есть отклонение от этого магистрального пути, когда рост есть, а меритократии, конкуренции, креативного разрушения нет. Основным механизмом демодернизации, по крайней мере, в случае России, Эткинд считает ресурсную зависимость, а также «политическую волю правящей группы» (Эткинд, 2013).

Данная модель предлагает интересный взгляд на процессы, происходившие в России после распада Союза. Тем не менее, она не учитывает ту роль, которую сыграл в формировании российских политико-экономических реалий период и способ перехода от плановой экономики к капитализму – эта тема широко обсуждалась в литературе по политической экономии (Rodrik, 2006). Помимо этого, в модели Эткинда определению модернизации недостает точности. Если считать критерием модерности наличие инклюзивных институтов, согласно Аджемоглу и Робинсону, или же «порядка открытого доступа», по Нарту, Уоллису и Вайнгасту, можно, казалось бы, провести четкую границу между современными странами – развитыми западными демократиями, с одной стороны, и модернизирующимися, с другой. Проблема, однако, в том, что

меритократия в американском обществе – не более чем миф, хотя оно, очевидно, не является обществом закрытого доступа.

этот критерий слишком размытый. Во-первых, есть существенные различия в его трактовке, которые проявляются в том, что авторы очень схожих, на первый взгляд, концепций приходят к прямо противоположным выводам относительно перспектив модернизации в развивающихся странах³. Во-вторых, если брать в качестве критериев модерности наличие и качество конкретных политических и экономических институтов, возникают проблемы эмпирического плана, связанные с их измерением и сопоставлением⁴. И в-третьих, критерий

³ На первый взгляд, концепции Аджемоглу и Робинсона (Acemoglu, Robinson, 2012) и Норта, Уоллиса и Вайнгаста (North, Wallis, Weingast, 2009), очень близки: институты имеют значение; экономические и политические институты тесно взаимосвязаны, и их развитие зависит от предшествующего пути; демократия создается элитами. Более того, сформулированное AR различие между экстрактивными и инклюзивными институтами очень похоже на предложенную в книге NWW концепцию институтов открытого и ограниченного доступа. Общей является и главная идея: богатые развитые страны фундаментально отличаются от остальных обществ тем, как они организованы. Тем не менее, выводы, к которым приходят авторы этих книг, прямо противоположны. Согласно Аджемоглу и Робинсону, рецепт достижения экономического благосостояния для развивающихся стран заключается в насильственной смене элит и политической инклюзии широких слоев населения (Acemoglu, Robinson, 2012a). В то же время, с точки зрения Норта, Уоллиса и Вайнгаста, переход предполагает институционализацию открытого доступа посредством утверждения обезличенных отношений. Изменения должны быть комплексными, усиливающимися в течение длительного времени и затрагивающими организации и институты, а также идентичность и убеждения, формирующие индивидуальное поведение. Таким образом, ни одномоментное установление «правильных» институтов, ни внедрение отдельных институтов открытого доступа, под внешним или внутренним давлением, не даст желаемых результатов, пока реформируемые общества не достигнут определенных пороговых условий. Более того, новые институты будут наверняка работать хуже тех, которые они замещают, поскольку будут искажаться принципы их работы, и это будет подрывать политические механизмы, обеспечивающие политическую стабильность общества, и порождать новые проблемы (North, Wallis, Weingast, 2009).

⁴ Как указывает Д. Зубарева, для разных стран и для разных периодов времени доступно различное число источников данных. «В результате, отличие оценки качества институтов в одной стране от этих оценок в другой может быть вызвано как некоторыми фундаментальными отличиями в экономиках двух стран, так и тем, что

«меритократии» не учитывает внутреннюю динамику самих современных обществ. Либеральные западные общества XIX – начала XX века вряд ли можно назвать меритократическими, слишком большую роль играли в них наследство и рента (Piketty, 2014). Принципы меритократии стали воплощаться в жизнь только вместе с построением welfare state после Второй мировой войны, когда резко снизилось имущественное неравенство и в значительной мере выровнялись стартовые возможности для выходцев из разных слоев общества. Но нет никакой гарантии, что западные общества останутся такими же. Так, Б. Миланович указывает на сокращение среднего класса и снижение его экономической значимости в развитых экономиках, особенно в США, а также на то, что, согласно исследованиям, субъективные представления людей о мобильности американского общества намного превосходят фактическую межпоколенческую мобильность по доходам (Milanovic, 2016). В этой связи он пишет о переходе американской политической системы к плутократии, при сохранении формальных признаков демократии. Тем не менее, американскую экономику трудно назвать ресурсной – очевидно, модель Эткинда не подходит для объяснения кризисных явлений в развитых обществах.

различные источники данных по-разному оценивают одни и те же явления» (Зубарева, 2009: 3). Отсюда возникают сложности межстрановых и межвременных сопоставлений. Кроме того, оценки институтов как хороших или плохих субъективны: институты в благополучных странах люди склонны оценивать как хорошие, а в менее благополучных – как плохие. То есть сами оценки качества институтов заранее положительно скоррелированы с экономическим развитием и поэтому плохо подходят для определения связи между этими показателями.

Еще одна концепция демодернизации была предложена Яковом Рабкиным (Rabkin, 2018). Он опирается на трактовку модернизации, которая продвигалась ранними теориями модернизации, описывавшими социальные изменения, происходившие в США и СССР как главных модернизирующих государствах. Речь идет о социальных, культурных и экономических изменениях, связанных с индивидуализмом, секуляризмом, установкой на прогресс и рост. По мнению Рабкина, модернизация включает в себя «утверждение национальной идентичности взамен (at the expense) племенных или религиозных идентичностей, возрастание продолжительности жизни и снижение количества инфекционных заболеваний, сужение социально-экономических разрывов и снижение числа людей, живущих за чертой бедности, снижение безработицы и неполной занятости, появление профессионализации и соответствующих возможностей трудоустройства, повышение социальной мобильности и демократизация культуры, укрепление социальных институтов, таких как профсоюзы, которые обеспечивают более сбалансированные отношения между работодателями и сотрудниками, ведущие к социальной стабильности, развитие отраслей, связанных с наукой и технологиями, а также рост ВВП и, наконец, ... фокус на индивидуальной эмансипации и больших возможностях самовыражения». Демодернизация трактуется Рабкиным как движение в обратном направлении, возврат к пре-модерным формам жизни и коллективной идентичности, обусловленный различными факторами, но прежде всего экономическими. Так, с его точки зрения, Германия пережила две волны демодернизации, между 1921 и 1924, а также между 1929 и 1932, когда безработица затронула половину

населения, в то время как национальный доход упал пропорционально, принуждая миллионы людей вернуться к более примитивным формам существования (Rabkin, 2018). Таким образом, согласно концепции Рабкина упадок социального государства и роли профсоюзов, снижение уровня жизни населения, возникновение религиозного фундаментализма, усиление этнонационализма, разного рода этнические чистки можно трактовать как откат к пре-модерну.

Концепция Рабкина ориентируется на конкретные институциональные формы как собственно современные – в этом ее сила и слабость одновременно. Он берет развитое индустриальное социал-демократическое общество второй половины XX века как наиболее полное воплощение идеалов модерна и показывает, что современные общества, в частности, США и Россия, откатились назад в плане обеспечения того, что М. Манн называет «социальным гражданством» (Mann, 2013). С одной стороны, это дает возможность более или менее точно идентифицировать движение в сторону модернизации/демодернизации, а также говорить о демодернизации в развитых странах – в частности, в США. С другой стороны, такой подход не принимает во внимание сложность, некогерентность и историческую вариативность составляющих программы модерна. Мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Еще один вариант концепции демодернизации развивает Михаил Минаков. В своих построениях он опирается главным образом на теории Ш. Эйзенштадта, Р. Инглхарта и Ю. Хабермаса. «Модернити» он понимает как «общее название для процесса, в котором человеческие сообщества

раскрывались как подвергающиеся непрерывной культурной рационализации» (Minakov, 2018: 23). С его точки зрения, различные культурные ареалы развивают собственные проекты модерна в разное время и на разных стадиях модернизации, исходя из своих культурных особенностей. Поэтому, имея универсальные основания, ценности и нормы, модернити имеет много форм, как в пространственном, так и в темпоральном отношении, и в этом смысле она является комплексной.

Согласно Минакову, все общества в своем движении к глобальному современному универсализму проходят одинаковые стадии развития, и переход от индустриальных к информационным обществам автор трактует как развитие модерна «в предполагающий более широкое участие, более демократический и экологический порядок. Со все более упрощенными иерархиями, признаваемыми формами различия и возрастающим участием, модерны могут утратить свои самодеструктивные наклонности» (Minakov, 2018: 29).

При этом, с точки зрения Минакова, общества могут двигаться от более позднего периода развития к предшествующему, и этот реверс к предыдущей стадии развития и есть демодернизация. В своей трактовке причин демодернизации он опирается на Ю. Хабермаса, его концепцию разрушительного воздействия системы на жизненный мир.

Главное достоинство концепта демодернизации заключается в том, что он акцентирует внимание на обратимость развития – модернизация обществ не является гарантом того, что их социальные, экономические и культурные достижения будут улучшаться или, как минимум, останутся прежними. Используя терминологию Б. Яка, концепт демодернизации

принимает во внимание различие между темпоральным и сущностным (substantive) концептами модерна, трактуя модерн как эпоху, состоящую из сложного сочетания современных идей и институтов с другими, которые «или сопротивляются, или индифферентны беспрецедентному динамизму», индуцированному научно-техническими изменениями и демистификацией традиционных авторитетов (Yak, 1997: 36). В таком случае определенные явления в современной социальной и политической жизни могут трактоваться в терминах демодернизации – как возврат, усиление домодерных идей, институтов и практик.

С другой стороны, концепт демодернизации имплицитно предполагает некую телеологию – социальная история предстает как направленное движение к воплощению социального идеала, определяемого нормативным ядром модерна. Для такого подхода остается важным противопоставление традиционных и современных обществ или, более узко, традиционных и современных институтов и практик. Ориентируясь на нормативный идеал модерна, концепт демодернизации дает нам инструмент для оценки социальных процессов, но мало что дает для понимания и объяснения их причин. Проблема в самом подходе к негативным явлениям современности, трактовке их как возвращения непреодоленных современным сил премодерна, которые в то же время оказываются антимодерными, препятствующими реализации нормативного идеала модерна. Осмысление происходящего в терминах модернизации/демодернизации заранее задает соотнесение с «нормой», что, в конечном счете, ведет к трактовке ситуации как борьбы добра со злом. Причем концепции демодернизации посвящены в основном

осмыслению социальных процессов, которые происходят в развивающихся странах, но не в развитых. Это свидетельствует о таком смешении нормативного и эмпирического уровней анализа, которое выражается в тенденции воспринимать западные общества как нормативный и институциональный образец, игнорируя их внутреннюю неоднородность, проблемы и противоречия.

Я предлагаю изменить перспективу и, вместе с Эйзенштадтом, посмотреть на модерн не как на идеал, в направлении которого движутся все общества, но как на исторически сформулированный проект, ставший движущей силой развития европейских сообществ, а позднее и всех остальных стран (Eisenstadt, Schluchter, 1998). Такой подход учитывает нормативное ядро модерна, но рассматривает его как «движущую силу», мотивирующую экспансию модерна. Собственно модернизация понимается как экспансия идей и институтов модерна, как экономическая, социальная, политическая и культурная трансформация обществ в соответствии с определенной программой – программой модерна. Эта программа, получившая наиболее полное воплощение в странах Запада, представляет особый интерес. На мой взгляд, понимание проблем, возникающих в развивающихся странах, на периферии, требует понимания процессов в культурных, политических и экономических центрах современности. *Проблемы современного Запада многое говорят о самом модерне* – в частности, о тех внутренних противоречиях, которые заложены в его программе.

Самым существенным недостатком концепта демодернизации является то, что он имплицитно предполагает *внутреннюю*

когерентность и непротиворечивость модерна – не процесса модернизации, а именно самих движущих идеалов, программы модерна. Такому прочтению модерна очень способствуют как классические теории модернизации, так и работы критиков модерна – франкфуртцев (Хоркхаймера и Адорно, Маркузе, Хабермаса) и постмодернистов. Их работы заставляют нас придавать современной жизни больше когерентности, чем есть на самом деле (Yak, 1997).

Однако культурно-политическая программа модерна имеет очень разные исторические корни, которые определяют ее идеологические компоненты. На формирование программы модерна в разное время оказали влияние античные политические теории, англосаксонская либеральная традиция, Просвещение, Великие революции, движения и идеалы Реформации. Обладая определенной автономией, различные компоненты программы модерна, о которых пойдет речь ниже, образуют не согласованную непротиворечивую систему, но свободно и гибко соединяются друг с другом в некую констелляцию идей (Eisenstadt, 2002; Yak, 1997; Arnason, 2005, Wittrock, 2000; Eisenstadt, Riedel, Sachsenmaier, 2002). Складываясь в довольно абстрактное общее видение идеального общества, его составляющие могут предполагать очень разное истолкование, и, соответственно, получать различное институциональное воплощение. Нормативный идеал модерна, очерчивая рамки и задавая направление, оставляет открытыми для трактовки многие вопросы: «Многие социологи современности, от Эмиля Дюркгейма до Толкотта Парсонса и недавних неомодернизационных теорий, претендовали на идентификацию институциональной структуры общества, которое было

бы специфически современным. Однако сами трансформации модерна заставляют допустить, что существует вариативность современных ответов на эти вопросы» (Wagner, 2008: 2-3). Между самими западными странами существуют глубокие различия в том, как организованы общество, рыночная экономика и современные политические институты (Wittrock, 2000). Так, если в США наиболее полно реализован неолиберальный идеал минимального государства, то в большинстве европейских стран исторически государство играло куда большую роль в регулировании рынка и общества.

Принимая во внимание этот аспект пространственной неоднородности модерна (по крайней мере, в варианте М. Минакова), теория демодернизации все же недоучитывает историчность современных обществ и, соответственно, *внутреннюю вариативность самого нормативного идеала*. Так, в конце 1970-х послевоенный идеал достижения социальной справедливости и построения государства всеобщего благосостояния сменился идеалом индивидуальной свободы и самореализации. На смену неокейнсианству и социал-демократии пришли неолиберализм и глобализация. Эта трансформация многими воспринималась как прогрессивная, свидетельствующая о достижении западными обществами нового этапа развития, приближающего их к построению истинно свободного общества. К примеру, в концепции Р. Инглхарта и К. Вельцеля эффективная демократия понимается именно в терминах индивидуальной свободы выбора и самовыражения (Inglehart, Welzel, 2005), а не политического представительства и защиты

коллективных интересов. В связке идеалов свободы и равенства свобода вышла на первый план.

Соответственно, общества, которые вошли в сферу влияния Запада и подверглись масштабной модернизации в середине XX века – скажем, Япония, Тайвань, Южная Корея – прошли совсем иной путь, чем те же постсоветские общества, реформировавшиеся в 1990-е. В первых была реализована программа полного или частичного импортозамещения, присущая стратегии *developmental state*, что, вкупе с открытием рынков США и Западной Европы для этих стран, дало очень хорошие результаты. Однако в 1990-е эту программу уже нельзя было реализовать по объективным причинам – в современном глобальном мире она не воспроизводима (Pirie, 2013; Hill, Wald and Guiney, 2016). И на постсоветском пространстве были проведены реформы уже иные – неолиберального толка, в соответствии с представлениями тогдашнего экономического мейнстрима и с совсем иным результатом.

Этот элемент историчности глобального взаимодействия и вхождения стран в глобальную мировую современность нельзя упускать из виду при анализе внутренней динамики обществ. Общая цель модернизации обществ не меняется – это реформирование экономики, с целью достижения устойчивого экономического роста, установление и поддержание демократии, защита прав человека. Но вот конкретные методы достижения этой цели и даже ее конкретизация на практике, воплощенная в конкретные экономические и политические институты, существенно изменяется. Мы вернемся к этому вопросу в последнем разделе.

Я разделяю точку зрения тех авторов (Streeck, 2011; Mann, 2013; Urbiny, 2014; Ikenberry, 2018; Slobodian, 2018), которые считают разворачивающийся кризис либеральной демократии и либерального мирового порядка результатом не поражения, а победы либерализма в его неолиберальном варианте. А поскольку либеральные идеи являются базовыми для нормативного идеала модерна, этот кризис вскрывает неоднозначность и противоречивость самой программы модерна.

3. Внутренняя противоречивость модерна

Важнейшей особенностью модерна является обращенность в будущее – контраст между прошлым и будущим направляет «семантику времени» модерна. Для современного сознания настоящее действительно только своей потенциальностью будущего, как «матрица будущего» (Therborn, 1995: 4). Высвобождение воли, направленной на преобразование действительности, и автономия разума – базовые предпосылки модерна.

По мнению Фёгелина, политическая программа Модерна глубоко укоренена в heterodox-gnostic traditions средневековой Европы (Voegelin, 1975). Реформация привнесла в революционные движения радикальную ориентацию на воплощение в этом мире «Божественного града», преодоление разрыва между City of Man and City of God. Великим революциям, ставшим точкой отчета Нового времени, было присуще стремление реконструировать общества на основе нового видения, в центре которого стояли темы *равенства, справедливости, свободы и участия community в политическом процессе*. Этому ориентированному в будущее видению сопутствовал акцент на кардинальном разрыве с

прошлым, акцент на новом начале и комбинация этой прерывности с насилием. Идея насильственного «выкорчевывания» старого, построения нового – идеального – общества и формирования человека нового типа как носителя нового мировоззрения освящала насилие. Согласно Эйзенштадту, политическое действие, имеющее целью *гомогенизирующее построение общества во имя утопического образа (vision)*, выкристаллизовалось в то, что станет якобинской визией или традицией, являющейся отличительной чертой многих современных движений (Eisenstadt, 2000).

Нормативный идеал, стоящий за проектом модерна, предлагал новое видение социальных отношений, согласно которому все люди созданы свободными и равными, независимо от их происхождения, статуса, имущественного положения. Согласно этому идеалу, «люди рождаются разными, в разных обстоятельствах, но они равны по своей человеческой природе (она в них одна), поэтому к ним нужно относиться с уважением, как к обладающим равной ценностью и достоинством» (Aloysius, 2015: 72).

Будучи изначально ограниченным белыми состоятельными гражданами мужского пола, этот идеал по своей внутренней логике предполагал неограниченное расширение, универсализацию, которая преодолевала бы гендерные, расовые, культурные и всякие иные различия. Именно эта идея – свободы и равенства в масштабах всего человечества – стояла за процессом демократизации. Эта идея выражена в универсальной декларации прав человека, задавая рамки социальной и политической нормативности. Эта идея получила свое философское

выражение в идеале неограниченного коммуникативного сообщества (Habermas, 1981).

Помимо свободы и равенства, политическая программа модерна включала другие составляющие, имевшие очень разные исторические корни. Это и идея подотчетности правителей некоему высшему закону; идея народного суверенитета и самоуправления; традиция представительства и представительные институты, развившиеся в Европе в течение Средневековья в различных советах, парламентах и государственных ассамблеях; акцент на автономии индивида и легитимация частных интересов; ориентация на построение идеального социального порядка. Различные компоненты этой программы были институционализированы после Великих Революций. Однако, по мнению Эйзенштадта, институционализация этой программы не сгладила относительную автономию ее различных компонентов, а, напротив, привела к развитию постоянного *напряжения между различными компонентами программы и их идеологическими и институциональными импликациями* (Eisenstadt, 2000).

Я хочу остановиться на трех наиболее значимых моментах напряжения между разными составляющими программы модерна. Это напряжение а) между свободой и равенством; б) между индивидуальной автономией и общей волей; в) между нормативным идеалом и практиками модерна. Эти дихотомии внутренне взаимосвязаны; они мотивировали развитие нормативной политической теории и теории демократии, международного права, породив полифонию подходов и концепций. В рамках настоящей статьи мы не сможем разобрать их

подробно – нам придется ограничиться общим указанием на эти моменты.

А) Соединение свободы и равенства изначально несет в себе определенное напряжение между этими двумя полюсами.⁵ В теории и на практике эти идеалы получали очень разные истолкования, в зависимости от того, какие аспекты социальной жизни ставились во главу угла – экономические, политические, правовые, экзистенциальные или социальные, и воплощались в очень разных институциональных формах. Недаром они стали ключевыми составляющими различных идеологий – от либертарианства до коммунизма, которые по-разному трактовали и соединяли эти понятия. В современных развитых обществах эта дихотомия отчетливо проявляется в противоречии, возникающем между демократией и капитализмом. Демократический капитализм основывается на двух противоречащих друг другу принципах распределения ресурсов – принципе предельной производительности, являющемся результатом свободной игры рыночных сил, и принципе, основанном на социальных нуждах или правах, которые гарантированы коллективным выбором демократической политики (Streeck, 2011). Первый принцип предполагает максимальную свободу – прежде всего, свободу экономической деятельности. Второй отсылает к идее равенства

⁵ Вопрос противоречия между свободой и равенством широко дискутируется в политической философии, начиная с ранних политических философов по сей день. Некоторые авторы отрицают, что свобода и равенство являются конфликтующими ценностями – например, П. Шпикер (Spicker, 1985). Однако сама постановка вопроса свидетельствует о наличии определенного напряжения между ними. Эта тема обрела особую актуальность в последние десятилетия, когда стал очевиден рост экономического неравенства в развитых странах.

как исправления несправедливости, порожденной свободным рынком и направленной на обеспечение, как минимум, равенства возможностей. Первый предполагает минимальное вмешательство в свободный рынок и свободу передвижения капитала и товаров, второй – политику перераспределения и социальную защиту. Требование обеспечения (securing) капитализма, по сути, включает в себя требование ограничения демократии.

В общественном идеале развитых стран, на который ориентировалась их социальная и экономическая политика, были периоды преобладания одного из принципов. Так, в период после II Мировой войны преобладал социал-демократический идеал. Но в конце 1970-х он сменился неолиберальным, во многих аспектах воспроизводившим либертарианские идеалы *laissez-fair* довоенной эпохи и трактовавшим имущественное неравенство как главный мотив экономической деятельности. Равенство же интерпретировалось исключительно в политико-правовом ключе.

В) Для модерна базовой является идея не только индивидуальной свободы, но и коллективного самоуправления, лежащая в основе демократической формы правления, которая в современном мире, по сути, стала нормативным требованием. Тем не менее, между эти двумя принципами – индивидуальной свободы и коллективного самоуправления – есть базовое противоречие. Лучше всего его выразил Исайя Берлин в своей концепции негативной и позитивной свободы, четко разделяющей частную жизнь (свободу индивида не подвергаться вмешательству в рамках определенной области) и политическое участие

(коллективное самоуправление благодаря участию в осуществлении государственной власти). С точки зрения Берлина, индивидуальная свобода не связана с необходимостью с принципом коллективного самоуправления – человек может быть свободным и при деспотическом режиме, в то время как реализация принципа коллективного самоуправления в его предельном виде ведет к тоталитаризму (Berlin, 1969).

Модерное общество в работах философов эпохи Просвещения, прежде всего у Т. Гоббса, Д. Локка и Ж. - Ж. Руссо, предстает как общество, состоящее из автономных индивидов, объединившихся на основе «общественного договора» и свободно преследующих свои интересы. У них мы находим идею первичности индивидов и изначального равенства между ними – в силу того, что они в равной мере обладают «естественными правами», прежде всякого договора. Однако их видение того, как именно должен осуществляться «общественный договор», в корне различно. Если по Локку задача правления заключается в институциональном обеспечении защиты естественных прав и свобод индивидов, а залогом общественного согласия и кооперации является экономическая свобода, то у Руссо мы находим идею «общей воли», возникающей в результате общественного договора. Идея «общей воли» тесно связана с идеей народа как суверена, которая также является базовой для модерна – она лежит в основе современного национального государства и конструирования наций и национальной идентичности, а также в основе принципа демократического самоуправления. Сформулированная Руссо в трактате «Об общественном договоре» (1762),

она получила свое предельное выражение в идеалах Великих революций – Французской революции 1789 года и Октябрьской революции 1917 года.

Согласно Руссо, задача общественного договора состоит в том, чтобы «найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всю общую силую личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде» (Руссо, 1998: 6). Однако при этом «каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого» (Руссо, 1998: 6). В результате образуется общественный Организм, который мыслится Руссо как единственный истинный суверен, Народ – носитель верховной власти, неделимой, неотчуждаемой, непогрешимой и неограничимой. Интересы Народа как целого не могут вступать в противоречие с интересами отдельных лиц, которые являются членами общего организма. Общей воле не может быть противопоставлен никакой закон – она сама является законодателем, предельным основанием права.

При этом задача Законодателя состоит в том, чтобы переделать человеческую природу, превратить отдельных индивидов «в часть более крупного целого». Идеал – это когда отдельный гражданин «ничего собой не представляет и ничего не может сделать без остальных, а сила, приобретенная целым, равна сумме естественных сил всех индивидуумом или превышает эту сумму» (Руссо, 1998).

Вопросы, поднятые Руссо, имеют прямое отношение к проблемам демократии, национального единства, идеологии, ответственного гражданства и гражданской эксклюзии. Открытие же романтиками народной культуры, в сочетании с идеями народного единства, проложило позднее дорогу этнонационализму и идеалу национального сообщества, гомогенного в культурном и языковом отношении.

Полагаю, что работы Руссо выражают некие основополагающие для программы модерна интуиции – в частности, идею народовластия. Однако демократия у Руссо выражает требование единого коллективного утверждения воли народа, она эксклюзивна, а не инклюзивна, поскольку суверенным ядром оказывается «народ», а не гражданин, и всегда есть соблазн отождествить «народ» только с частью населения.

Идеи Руссо нашли свое выражение в праве народа на сопротивление (революцию) и в праве на самоопределение, но эти же интуиции выразились в апелляции к «воле народа» во время Великих революций⁶ – чистки и террор был весьма логичным их завершением. В них можно увидеть зачатки идеологий солидаризма, фашизма, этнонационализма, которые есть чисто современные явления и не имеют отношения к пре-модерну.

С другой стороны, для Руссо индивидуальная свобода – это свобода самоуправления через политическое участие, для него она немыслима без политического измерения. Демократия предполагает равное

⁶ Известное высказывание К.Дюмулена очень четко выражает «формулу общей воли»: «Народ высказался, этого достаточно; никакие возражение, никакие veto невозможны против его суверенной воли. Его воля всегда законна: это сам закон» (Тесля, 2011).

распределение политической свободы в качестве базового блага. Либерализм же, как указывает Н. Урбинати, постулирует дуализм индивидуальной свободы и политического участия – если первая фундаментальна и принципиальна, то второе имеет прагматичный и инструментальный характер. Если право на основную свободу должно быть гарантировано всем в равной мере, это не касается отправления политической власти – она не должна распределяться в равной мере, чтобы эта основная свобода существовала (Urbinati, 2014). Это расщепление базовых гражданских свобод и политического участия в либерализме имеет важное значения для понимания неолиберальной трансформации современных обществ.

С) Идея постоянного расширения области персональной и институциональной свободы была и остается основополагающей для проекта модерна. Для начала это была эмансипация от «традиционного общества», которое определялось как общество угнетения – предполагалось, что только «новое общество» может обеспечить автономию и самореализацию индивида (Boltanski, Chiapello, 2005). Но многие авторы обращают внимание на то, что параллельно с освобождением в современных обществах возникают новые формы угнетения, новые центры власти. Эту тему в разных аспектах разрабатывали Касториadis, Хоркхаймер и Адорно, Арнасон, Болтански и Кьяпелло, Вагнер. Скрытые дисциплинарные практики модерна стали темой работ Фуко, Бурдьё и других французских постструктуралистов. Это идея «двойной институционализации», то есть нестабильного сосуществования и постоянной борьбы между капитализмом и

автономией» (Arnason, 1989), предлагающая образ модерна как поля постоянного напряжения, структурированного между двумя доминирующими полюсами – требованиями эмансипации и подлинных форм жизни, с одной стороны, и рациональным господством и доминированием – с другой (Boltanski, Chiapello, 2005). У Хабермаса это напряжение нашло свое отражение в идее противоречия между коммуникативным и инструментальным разумом (Habermas, 1981). Вагнер пишет в этой связи про «аргументативную фигуру самоаннулирования модерна в и через его собственные практики» (Wagner, 1994: 7).

Дискурс освобождения восходит к требованию автономии и самодостаточности научного разума в ходе научной революции, требованию самоопределения в ходе политических революций и требованию освобождения экономической активности от надзора и регулирования абсолютистского государства (Wagner, 1994). Во всех этих случаях свобода рассматривалась как базовое – «неотчуждаемое», «самоочевидное» - человеческое право; после Великих революций эти требования свободы были институционализированы – научное знание, национальное государство и демократия, а также свободный рынок и право собственности стали базовыми институтами модерна.

Но дискурс освобождения имеет и другую составляющую – идею освобождения от власти природы, которая выливается в идеал конструктивного управления, рационального господства над природой и обществом. Природа и общество имеют свои законы, которые можно познать и использовать для конструирования идеального порядка, в

соответствии с представлением об идеальном обществе. Общество становится объектом человеческой активности, и эта тенденция развивается в 2-х направлениях – «технократическом», согласно которому можно построить идеальное общество в соответствии с законами человеческой природы (социальная инженерия), и гомогенизирующем морально-рациональном, предполагающем понимание политического сообщества как само-конститутивной и само-рефлексивной целостности. Согласно последнему, люди сами задают себе закон, и общество может посредством политических действий постоянно реконституировать само себя сознательным рефлексивным путем (Eisenstadt, 2000: 58-59).

В дальнейшем эти два аспекта интерпретируются в плане противостояния государства и гражданского общества. Именно государство, получившее исключительное право насилия, становится агентом социального конструирования, проводником и «вместилищем» модерна (Wagner, 1994). Эта ситуация и порождает указанное противоречие между идеалом и практиками модерна. Как показал еще А.Токвиль, институционализация политических свобод в эпоху Просвещения сопровождалась невиданной до тех пор централизацией государства и усилением бюрократической власти; общества же «организованного модерна» (Wagner, 1994) становятся истоком тоталитаризма – неограниченной власти государства, направленной на преобразование общества в соответствии с образом социального идеала.

Но было бы упрощением сводить это напряжение к противоречию между гражданским обществом и государством. Оно проявляется также в

том, что Н.Урбинати назвала *эпистемическим искажением демократии* (Urbinati, 2014). По ее справедливому определению, демократия – это сфера доксы, мнения, и как таковая, она какофонична, «случайностна», поскольку таковы издержки пользования политической свободой. От граждан же порой требуют принятия «правильных» решений, особенно в области экономической политики. «Правильное» в данном случае означает «истинное» в эпистемологическом смысле – то есть, ведущее к нужному результату. «Но как только эпистема входит в область политики, сразу же в воздухе повисает вероятность того, что политическое равенство будет поставлено под вопрос, поскольку критерий компетентности по самой своей природе неэгалитарен» (Urbinati, 2014: 83). В 5 разделе мы вернемся к этой теме и покажем, как это напряжение между технократическим характером политики, ориентированной на рациональное преобразование мира во имя человеческой эмансипации, и демократическим принципом самоуправления выражается в настоящее время и каковы его последствия. Но прежде мы уделим некоторое внимание Холокосту и этническим чисткам, которые, согласно теориям демодернизации, можно трактовать как откаты к пре-модерну. На мой взгляд, это все же современные явления.

4. Холокост, этнические чистки и модерн

Когда мы говорим о Холокосте, нужно помнить, что национальное государство – современное явление. Сама идея нации как целого, как политического организма принадлежит модерну и имеет прямое

отношение к идее самоопределения народа. Поиски этнических корней нации и примордиалистское ее видение – также изобретение модерна.

Холокост стал результатом сложных социальных и экономических трансформаций под влиянием капитализма, угрожавших интересам ремесленников и дворянства: «Экономическая инициатива евреев соединяла в себе угрозу для устойчивого социального доминирования с ударом по всему социальному строю, который поддерживал это доминирование и сам этим доминированием поддерживался» (Bauman, 1989: 50). Это была реакция на наступление модерна, но, как таковая, она сама принадлежит модерну – и по способам осуществления, и по идейным основаниям. Конечно, эту реакцию нельзя считать реализацией идеала эмансипации, но она основывается на и использует иные компоненты программы модерна.

Схожая точка зрения выражена в работе З. Баумана «Актуальность Холокоста», наделавшей в свое время много шума. Общепринятый подход, который фокусировался на исторических, политических и культурных особенностях тогдашней Германии, способствовал комфортному ощущению, что эти события относятся к «другому времени, другой стране». Бауман же утверждал, что Холокост есть порождение модерна – изобретенных и внедренных в современном обществе механизмов контроля и рациональной организации труда, социальной инженерии как научно обоснованных действий, направленных на установление нового, лучшего строя. И за декады, прошедшие с момента публикации «Модерна и Холокоста», стало слишком очевидным, что геноцид – это не продукт «другого времени» (Kaye, Strath, 2000: 98-99).

Он связан с такими характерными чертами модерна, как направленность на рациональное конструирование общества, гомогенизацию в соответствии с утопическим образом социального идеала средствами «социальной инженерии», включая насилие и принуждение. Бауман отмечает по этому поводу: «Модерная культура – это садовая культура. Она определяет себя как проект (design) идеальной жизни и совершенное оформление (arrangement) человеческих условий. <...> Современный геноцид, как и современная культура в целом, является работой садовника. Это только одно из многих домашних заданий, которые должны выполнить люди, которые относятся к обществу как к саду. Если садовый проект предусматривает свои сорняки, сорняки найдутся везде, где есть сад. И сорняки должны быть истреблены. Истребление сорняков является креативной, а не деструктивной деятельностью» (Bauman, 1989: 92). В Германии 30-х годов такими «сорняками», мешающими построению идеального общества, стали евреи, мешавшие построению «Тысячелетнего Рейха» как высшей и завершающей точке исторического развития. Евреи ассоциировались с наступающей «властью денег», угрожающей «немецкому духу», воспринимались как нечто чуждое, инородное для немецкого общества. Еврейство сопоставлялось с раковой опухолью, бурьяном, паразитами, которых можно только уничтожить, потому что нельзя изменить их внутреннюю природу, а нацистское государство брало на себя функции врача и садовника.

Изначально нацисты ставили своей целью предоставить научное обоснование расизма и антисемитизма. С нацистским режимом активно сотрудничали специалисты в области генетики и физической

антропологии, этнологии и культурологии. В середине 1930-х годов было создано пять институтов антисемитских исследований, которые должны изучать еврейский влияние в естественных науках, культуре, истории, юриспруденции и религии (Кунц, 2007: 219). И уже в середине 1930-х годов было «объективно доказано» моральную деградацию еврейства, совершенные евреями преступления против германских народов, опасность «еврейской заразы» для здоровья нации. Опираясь на развитие генетики и евгеники, нацизм сделал «здоровье нации» высшей общественной ценностью⁷.

Способом реализации задачи уничтожения евреев становится бюрократическое государство, а концентрационные лагеря - продолжением фабричной системы, только сырьем выступали люди, а изделием - смерть. Технические и организационные инструменты, изобретенные современной цивилизацией, эффективно использовались для «окончательного решения еврейского вопроса». Будучи формой социальной инженерии, нацизм эффективно использовал бюрократически-административную систему власти, которая смогла формализовать поставленную цель и воплотить ее в жизнь. Грубое насилие, как, например, события «Хрустальной ночи», рядовыми немцами целом воспринималось негативно; агрессивная нацистская пропаганда

⁷ Еще до организованного уничтожения евреев в концлагерях в Германии проводилась политика принудительной стерилизации всех «неполноценных» — людей с врожденными пороками, инвалидов, умственно отсталых и умалишенных, коммунистов, цыган и евреев. В этом отношении государственная политика нацистской Германии отличалась от евгенической политики таких стран, как США, Швеция, Дания, Финляндия и т.д. только большей последовательностью, организованностью, эффективностью и выраженным принудительным характером.

воспринималась с подозрением и презрением. В 1934 исследования общественного мнения, проведенные службой безопасности, СС и Гестапо, показали, что большинство немцев не поддерживали вульгарный антисемитизм и физическое насилие (Кунц, 2007: 184). Поэтому на государственном уровне были организованы мероприятия по рационализации антисемитизма, подведения под него научного фундамента, его морального и юридического оправдания⁸. «Дисциплинированная просветительская кампания» способствовала созданию бюрократической системы, на государственном уровне занималась решением «еврейского вопроса», и это, в свою очередь, сыграло ключевую роль в реализации антисемитской нацистской политики. Если архаичная жестокость оставалась для большинства немцев неприемлемой, то административные меры воспринимались вполне безразлично, даже приветствовались. Антисемитская политика, овеянная авторитетом науки и законности, не вызывала протестов (Bauman, 1989: 72). Из мемуаров Б. Льозенера, который был расовым экспертом в МВД Третьего Райха, следует, что немцы смирились с преследованием своих сограждан-евреев, соблазненные миражом

⁸ Важнейший шаг в этом направлении был сделан, когда интересы нации поставили выше закона: нацистское государство, писал Франц Гюртнер, рейхсминистр юстиции Германии в кабинете Гитлера, «рассматривает любое посягательство на благосостояние этнического сообщества и любое препятствие в достижении целей, к которому это сообщество стремится, как несомненное зло. Соответственно, закон более не является единственным авторитетом в определении должного и недолжного. Для понимания того, что должно, теперь необходимо уже не только знать закон, но и иметь представление о некоей справедливости, находящейся за его пределами и еще не нашедшей своего юридического выражения» (Кунц, 2007: 189-190).

законности и порядка, все больше проникаясь убеждением, что евреи являются для них чужими (Кунц, 2007).

Для пропаганды антисемитизма и нацизма среди молодежи и широких слоев населения использовались СМИ и централизованная система образования. Важную роль в этом сыграла поддержка нацистских идей немецкой интеллигенцией: «Немецкие профессора были одними из самых горячих сторонников прихода нацистов к власти в 1933 году» (Кунц, 2007: 212)⁹.

До сих пор речь шла об использовании средств современного государства для осуществления Холокоста. Однако сам Холокост, как и этнические чистки в целом, имеют прямое отношение к базовой для современного государства идее народного суверенитета. Когда народ определяется как суверен – носитель верховной власти, а тем паче как единое целое, встает вопрос гражданства – кто и в соответствии с какими критериями входит в состав «народа». Единство нации является базовой предпосылкой демократии, и оно очень часто трактуется в смысле этнического единства, языковой и культурной гомогенности. Критерием принадлежности к «народу» может быть как принцип «чистоты крови», так и классовая принадлежность, как это было в коммунистических обществах, где «народ» отождествлялся с пролетариатом (в СССР) или

⁹ Следует отметить, что поддержка не была тотальной, и многие ученые, которые на словах выражали поддержку, отказывали нацизму во «внутренней поддержке», ища убежища в аполитичных исследованиях, а на университетских семинарах можно было услышать откровенно критические высказывания. В середине 30-х ситуация изменилась – идеологическое давление стало более ощутимым, расизм приобрел более респектабельный вид научно обоснованного знания, а антисемитские и расовые темы стали «хорошим тоном» в научной среде.

крестьянством (в Китае и Камбодже). В любом случае, только часть населения отождествляется с «народом», и от его имени, и во имя национального единства «лишние» люди должны повергнуться чисткам. Как замечает М. Манн, «убийственные чистки распространяются по всему миру по мере его модернизации и демократизации» – этнические чистки в домодерных сообществах были крайне редки, поскольку не существовало еще представления о народном суверенитете и этнонациональном единстве, равно как и проблемы гражданской солидарности (Mann, 2005: 4).

Этнические чистки принадлежат самому модерну, современной идее демократии как ее «темная сторона» (Mann, 2005). Так, идеал «Тысячелетнего Рейха» предполагал формирование гомогенного национального сообщества, НСДАП выступала как выразитель подлинной воли народа, а нацистская идеология, фактически, играла роль гражданской религии. Нацисты добились экономического возрождения Германии – за счет политики всеобщей занятости, стимулирования частного предпринимательства и программы перевооружения. Стоит заметить, что идеи корпоративизма, ставшие частью идеологии фашизма, в 1930-е годы распространились по всей Европе – в результате разочарования в классическом либерализме и под влиянием антикоммунизма (Mann, 2013). По сути, нацизм и фашизм были искаженным демократическим ответом на провалы экономического либерализма. Нынешняя ситуация во многих чертах повторяет ту, что сложилась в Западной Европе в начале XX века.

Таким образом, в разного рода революционных и национально-освободительных движениях эпохи модерна нашли свое выражение такие его компоненты, как: представление о народном единстве и «общей воле»; стремление к преобразованию действительности на основе истинных принципов; уверенность в обладании истинным знанием законов человеческого общества как ключом к построению идеального общества; насилие, освящаемое целью реализации идеального видения. Трактовать приход нацизма и фашизма в первой трети XX века в Западной Европе как «демодернизацию» значит *игнорировать неоднозначность самого модерна, его «темную сторону»*. Так можно интерпретировать, только если редуцировать программу модерна к эмансипации индивида, не принимая во внимание остальные ее составляющие.

На наш взгляд, тот упущенный фактор, который сделал возможным подобные явления – это *отсутствие либеральных институтов*. Именно присутствие либеральных институтов в англосаксонских странах направило их развитие по иному пути. Немаловажно, что в Англии традиция либеральной мысли и либеральные институты существовали уже до установления демократии – они стали результатом борьбы элит за ограничение властного произвола короны (Moore, 1966). Первой важной политической победой либерализма была английская Славная Революция 1688, в которой земельному джентри удалось добиться успеха в ограничении власти суверена, с последующим Биллем о Правах (1689), кодифицирующем эти ограничения. Англосаксонские элиты были заинтересованы в сохранении существовавших либеральных институтов

и настроены изначально *антидемократически*, выступая против предоставления всеобщего права голоса – они боялись «тирании большинства» (Fawsett, 2014). Либеральная демократия в англосаксонских странах стала результатом борьбы мобилизованных масс за политическую инклюзию. В то же время, либеральный компонент либеральной демократии никогда не имел места в большей части мира.

5. Неолиберализм и кризис либеральной демократии

Либеральная демократия объединяет в себе оба полюса – демократический и либеральный. Но это объединение неустойчиво и внутренне противоречиво – оно требует политической воли и усилий по его поддержанию, недаром оно было реализовано только после 1945 года (Fawsett, 2014). Реальной политике приходится постоянно балансировать между этими двумя полюсами (Streeck, 2011).

Уже шла речь о том, что установившийся после войны идеал государства всеобщего благосостояния и неокейнсианский консенсус в конце 1970-х сменился неолиберальным консенсусом. Соответственно, хотя либеральное нормативное ядро, по сути, осталось прежним, изменилось его содержательное наполнение – произошел сдвиг от идеала равенства и социальной справедливости к идеалу свободы, которая трактовалась как *свобода выбора* – политического, экономического, экзистенциального, включая свободу выбора гендера, стиля жизни, верований и т.п. Если непосредственной целью послевоенного неокейнсианства, или ограниченного либерализма, было достижение полной занятости, то неолиберализм выдвинул на первое

место экономическую свободу как необходимое условие достижения всеобщего благосостояния.

Неолиберализм часто трактуют как исключительно экономическую теорию. Но это ошибка – работы отцов-основателей неолиберализма отсылают к нормативному видению идеального общества как общества всеобщей свободы и благополучия и, по сути, посвящены принципам его обустройства. Так, неолиберализм ориентируется на идеал минимального государства – не столько либеральный, сколько либертарианский (Yak, 1996). Это связано с трактовкой государства как *злой силы* (*sinister power*), несущей угрозу свободе. Лучшее, что может делать государство – это выполнять функции «ночного сторожа», обеспечивающего национальную безопасность и личную свободу, потенциально же оно является «монстром под управлением коррумпированных политиков» (Patterson, 2014). По мнению Фридмана, в случае предполагаемого государственного вмешательства следует прибегнуть к составлению баланса «за» и «против», и в графу «против» обязательно занести «угрозу для свободы» (Friedman, 1992: 36). Задача государства заключается в том, чтобы обеспечить условия для соблюдения прав и свобод индивида, максимально устранившись из всех остальных сфер общества.

Во время неолиберального поворота и сопровождавших его экономических и социальных трансформаций многие писали о переходе в новой эпохе – постмодерному обществу. В этот период широко обсуждались идеи мультикультурности, индивидуализма, терпимости, плюрализма, которые противопоставлялись рациональному универсализму эпохи Просвещения. Актуализация этих идей отражала

изменение социальных реалий и социальных идеалов того времени. Делая рынок главным регулятором социальных отношений, неолиберализм не требует культурной гомогенизации, поскольку культура, как и государство, становится предметом потребления. На наш взгляд, однако, программа модерна остается конститутивной для современных обществ, равно как и для либерального мирового порядка в целом, просто тогда в очередной раз изменился смысл ее составляющих и их констелляция – и сейчас они снова меняются.

Главная трансформация, осуществленная неолиберализмом – перенос центра власти в экономику, которая трактуется как саморегулирующаяся система. «Невидимая рука рынка» должна сама все устроить ко всеобщему благополучию. Иными словами, неолиберализм предполагает, что ключом к пониманию общества является рынок. Эта идея имеет непосредственное отношение к либеральной негативной трактовке свободы, переосмысленной и истолкованной в либертарианском духе. Целью идеального общественного устройства является индивидуальная свобода, понятая как прежде всего свобода экономической деятельности – «нет свободы вне рынка» (Benoist, 1998: 77). Рынок трактуется как базовый принцип организации общества, «система всеобщего социального регулирования» (Benoist, 1998: 76). Политическая свобода также понимается по образцу рыночной – как свобода выбора между различными партиями и политиками, которые сами становятся своего рода товаром (Patterson, 2014). С одной стороны, это влечет за собой отказ от принуждения и гомогенизации и дает максимальную свободу выбора и самовыражения индивиду. С другой

стороны, такой подход продвигает недоверие к политической власти – ее нужно постоянно сдерживать, чтобы предотвратить вмешательство в гражданское общество (civil society). Однако такое ослабление, дискредитация сферы политического чревато серьезными последствиями для общества, и современные кризисные явления в развитых обществах имеют к этому прямое отношение.

По сути, неолиберализм является идеологической утопией¹⁰, сохраняющей ориентацию на целенаправленное рациональное преобразование общественного устройства в соответствии с собственным видением социального идеала: «...Неолиберальная модель претендует не столько на то, чтобы описывать мир, как он есть, сколько на описание того, каким он должен быть. Для неолиберализма суть не в том, чтобы сделать модель более адекватной реальному миру, а в том, чтобы сделать реальный мир более адекватным своей модели» (Clarke, 2005: 58). Экономика функционирует по своим законам, и управление в неолиберальном обществе должно соотноситься с ними для достижения наилучшего результата. Такой подход делает управление технологичным и в некотором смысле усиливает господство и

¹⁰ Вокруг неолиберализма ведутся споры, представляет ли он из себя всеохватывающую идеологию, на манер социализма (Mann, 2013) или же является свободным набором идей относительно того, как должны быть организованы отношения между государством и внешним окружением (Thorsen, Lie, 2006). На мой взгляд, здесь нет противоречия – будучи свободным набором идей, неолиберализм в то же время служил идеологической основой экономической и социальной политики, в частности, определяемой элитами англосаксонского мира в 1980-2000-х. Как таковой, он отражал консенсус элит – экономической, политической и академической, именно потому речь и шла о «Вашингтонском консенсусе»; собственно, потому он и оказался столь влиятельным (Ананьин, Хаиткулов, Шестаков, 2010).

принуждение, которое из политического превращается в принуждение со стороны системы.

Проблема, во-первых, в том, что рынки не отменяют власть, но перераспределяют ее: «Неолиберализм видел капитал освобожденным от государства – экономическую власть доминирующей над политической, транснациональную доминирующей над национальной» (Mann, 2013: 130).

Многие критики неолиберализма сходятся в одном: неолиберализм покоится на совершенно неоправданной вере в то, что власть правительства всегда больше угрожает нашей свободе и безопасности, чем власть частных акторов, таких, как большие корпорации (Yak, 1996; Crouch, 2011; Mann, 2013). Неконтролируемые рынки способствуют концентрации власти в руках рыночных агентов, имеющих доступ к рыночным ресурсам, и конвертации этой власти в политическую (Crouch, 2011). Многие указывают на то, что формирование новых центров власти, таких как международные финансовые организации, ТНК, наднациональные образования типа ЕС, существенно ослабило власть национального государства и усилило власть и влияние глобализированных элит. В то же время, массы утрачивают доступ к принятию многих решений, непосредственно затрагивающих их интересы. Когда экономическая власть становится политической, «граждане оказываются почти полностью лишены их демократической защиты и их способности выражать свои политико-экономические интересы и требования, противоречащие интересам собственников капитала» (Streeck, 2011: 29).

Во-вторых, «маркетизация» общества подчиняет все его сферы логике рыночных отношений. Это ослабляет социальные связи и искажает логику коммуникативного взаимодействия – об этом много писали теоретики левого и леволиберального толка, в частности, Юрген Хабермас (Habermas, 1981).

И в-третьих, перенос центра власти в экономику ослабляет сферу политики (politics) как регулятора социальных отношений и усиливает технократические тенденции модерна. Неолиберализм ведет к деполитизации демократии – предполагается, что в сложной ситуации только немногие компетентные могут принимать верные решения, от демократии же требуется, чтобы граждане стремились к достижению правильного результата. «Недавнее замещение выборных представителей исполнительной власти технократами в некоторых европейских странах является индикатором распространенной веры в то, что избираемые демократическим путем институты не способны достичь рациональных политических решений в области финансов и экономики или же делают это слишком медленно» (Urbinati, 2014: 83). Не случайно в критической литературе пропоненты неолиберализма часто изображаются как скептически относящиеся к демократии: «Если демократический процесс замедляет неолиберальные реформы или угрожает индивидуальной или предпринимательской свободе, тогда демократию следует отставить и заменить управлением экспертов или законодательными инструментами, созданными для этой цели» (Thorsen, Lie, 2006: 15). Не случайно Хайек, один из отцов-основателей неолиберализма, к концу жизни выступал за отмену демократии, как мы

ее знаем, ради защиты экономической свободы и гражданских свобод (de Benoist, 1998; Streeck, 2011). Та же логика прослеживается в статье Фарида Закария о нелиберальных демократиях и либеральных диктатурах (Zakaria, 1997).

Ослабление демократии и подчинение ее экспертному управлению нашло свое отражение в практиках насильственного проведения неолиберальных реформ в развивающихся странах – к примеру, в Чили, Аргентине, Сингапуре, Ираке и ряде других стран (Harvey, 2005). В паттерне либерального мирового порядка также заметны характерные напряжения программы модерна. Так, К. Данкомб и Т. Данн различают интернационализм и империализм как политику и практику гуманитаризма. Главные идеи интернационализма – следование правилам для обеспечения мира и равенства между народами, а также свободная торговля и принцип самоопределения народов. Империализм является оборотной стороной интернационализма и связан с тем, что гегемон использует свою *soft power* для насильственного навязывания правил игры, а также установления их в своих интересах. «Прославлять, как это склонны делать либералы, добродетели интернационализма без признания сопутствующей «темной стороны добродетели» в лучшем случае неполно, в худшем – лицемерно» (Duncombe, Dunne, 2018: 27).

Таким образом, неолиберализм отнюдь не преодолевает упомянутое противоречие между идеалом и практиками, эмансипацией и рациональным господством, являющееся характерной чертой модерна. Стремление к «эпистемным» подходам среди правительств и популизм развиваются параллельно – эти явления «подпитывают друг друга, и в то

же время оба обесценивают демократические процедуры, если только те не способны достигать определенных, внешних им целей, причем планомерно» (Urbinati, 2014: 84).

Литература по «политической экономии популизма» (Stankov, 2017) связывает волну популизма по всему миру с неолиберальной глобализацией и ее последствиями. Среди основных факторов указывают рост неравенства, как глобального, так и внутри стран; волну иммиграции в развитые страны в результате открытия границ; деиндустриализацию из-за переноса производства в страны с дешевой рабочей силой; неолиберальные меры жесткой экономии (austerity measures), снижающие социальную защищенность; сопутствующий рост безработицы и снижение уровня заработной платы в результате ослабления трудового законодательства и давления глобального рынка труда (Stankov, 2017; Milanovic, 2016). Как показывает Б. Миланович, от глобализации меньше всего выиграли низшие и средние слои среднего класса богатой части мира – те, которые составляют большинство в богатых странах (Milanovic, 2016). Рост неравенства является одним из важнейших факторов, поскольку он влияет на социальную структуру обществ, способствуя размыванию широкого слоя среднего класса, который является основой либеральной демократии, и усилению элит.¹¹ Еще в конце 1950-х Липсет выдвинул предположение, что «общество, разделенное на широкие обедневшие массы и небольшую привилегированную элиту, придет или к олигархии (диктаторскому

¹¹ Влияние неолиберального поворота на рост неравенства и демократию подробно обсуждается в статье С.Щербак «Гипотеза модернизации и неолиберализм» (forthcoming).

правлению узкого высшего слоя), или к тирании (диктатуре, основанной на популизме)» (Lipset, 1959: 75). Темин (Temin, 2017) в этой связи указывает на постепенное исчезновение среднего класса в США и формирование дуальной экономики (согласно модели Льюиса), присущей развивающимся странам, с узкой прослойкой обеспеченной элиты и широкими обедневшими массами населения. По его мнению, победа Трампа в 2016 г. была обусловлена именно этим фактором.

Однако, на мой взгляд, апелляция к росту неравенства и экономическим дисбалансам в результате глобализации является недостаточным объяснением настоящего кризиса либеральной демократии. Можно предположить, что в западных странах под влиянием реализации неолиберальной политики произошло «нарушение социального контракта» между либеральными элитами и широкими массами, лежавшего в основе либеральной демократии (Colgan, Keohane, 2017). В этой связи популизм можно понять как протест против неолиберальных преобразований – не только их экономических последствий, но и против технократизации государственного управления, усиления властных элит и невозможности контролировать и направлять изменения демократическим путем. Легко объединяясь с другими идеологиями, правыми и левыми, «в мире, где господствуют демократия и либерализм, популизм, по сути, стал *нелиберальным демократическим ответом недемократическому либерализму*» (Mudde, Kaltwasser, 2017: 116). Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана очень четко выражают это: «Демократии нет необходимости быть либеральной. Просто потому, что, будучи не либеральной, она все еще может быть

демократией». И дело не только в том, что восточным европейцам присущ страх перед иммиграцией, а носители либерального мировоззрения эмигрировали на Запад, как только пал железный занавес – такое объяснение дает росту правого популизма в Восточной Европе Иван Крастев (Krastev, 2018). Дело в том, то технократический либерализм, воплощенный в брюссельской бюрократии, вступает в противоречие с принципом народовластия как главным принципом демократии. Характерное для неолиберализма недоверие к политике приводит к упадку политического участия, публичной сферы, что, в свою очередь, влияет на рост популизма, враждебного представительной демократии. Лишенным представительного голоса гражданам остается или следовать за харизматичным лидером, претендующим на то, чтобы быть «голосом народа», или осуществлять неполитическое сопротивление по принципу контрдемократии, используя терминологию Пьера Розанваллона. Таким образом, активизацию правопопулистских настроений в Европе можно истолковать также как результат технократизации управления, ослабления политической сферы, снижение политического участия, что привело к упадку демократии.

Однако и такое объяснение представляется недостаточным. К. Слободян обращает внимание на тот факт, что такие правопопулистские партии, как Альтернатива для Германии (АдГ) или Австрийская Партия Свободы (АПС) имеют тесные связи с представителями институтов неолиберальной и либертарианской направленности (Slobodian, 2018). Неолиберализм изначально выступал в союзе с консерваторами (Mann, 2013), и это не случайно –

неолиберализм и нативизм противоречат друг другу только на первый взгляд. Современный правый популизм возник не в противоположность неолиберализму, но *внутри* него (Slobodian, 2018). Еще в 1998 г. Г. Хоппе, старший научный сотрудник Института имени Людвиг Мизеса и со-редактор 'The Journal of Libertarian Studies' и 'Quarterly Journal of Austrian Economics', продвигал идеи максимальной приватизации публичной собственности, *laissez faire* как принципа внутренней политики и международной свободной торговли – и в то же время ограничения иммиграции, поскольку каждое сообщество имеет право ограничивать себя от нежелательного соседства (Hoppe, 1998). В настоящее время эти идеи обрели популярность среди неолибералов-евроскептиков, критикующих ЕС за воспроизведение квазигосударственного административного регулирования на уровне Союза (Slobodian, 2018). Неолиберальный идеал – это *свободная рыночная конкуренция среди закрытых национальных сообществ*. Так, АдГ и АПС, осуждая ЕС и миграцию, требуют свободной торговли, конкуренции, снижения налогов и сокращения социальных расходов (Slobodian, 2018). По сути, Трамп проводит политику в том же духе. Таким образом, правый популизм является логичным продолжением и развитием принципов неолиберализма.

Что касается постсоветского транзита, важно иметь в виду, что советским странам был предложен совершенно иной набор рекомендаций и рецептов перестройки экономики и институтов управления, чем в период господства кейнсианства. Задача стимулирования экономического роста имела иное содержание и уже не

подразумевала развитие промышленности и импортозамещения, полного или частичного, что составляло стратегию развития developmental state, реализованную в свое время в Японии, Южной Корее, Тайване, Гонконге (Pirie, 2013). В 1980-90-е целью экономической политики стала либерализация финансовых рынков, приватизация, снижение налогов для бизнеса, максимальное снятие торговых барьеров, включая допуск иностранных компаний к банковскому сектору и прочим активам, сокращение социальных расходов, фискальная дисциплина и т.д. – то есть, создание свободного рынка, открытие границ и минимизация государственного регулирования. Совокупность указанных мер в 1989 была обобщена Дж. Уильямсоном под заголовком «Вашингтонский консенсус» и активно продвигалась международными финансовыми организациями, такими как МВФ и ВБ, в развивающихся странах. Задачей этих реформ, по сути, было вписывание постсоветских стран в глобальную мировую экономику и либеральный мировой порядок.

Однако неолиберальные реформы привели к глубоким финансовым потрясениям в 1990-х–начале 2000-х в тех развивающихся странах, которые до этого более-менее последовательно проводили в жизнь рекомендации МВФ – Восточную Азию, Мексику, Россию, Бразилию, Турцию, Аргентину (World Bank, 2005). В литературе по политической экономии широко обсуждались эти провалы. Одна из доминирующих точек зрения заключалась в том, что реформы были проведены недостаточно полно и всеобъемлюще (Singh, 2005), и список реформ нужно расширить и дополнить реформами «второго поколения», направленными на более глубокую либерализацию. Альтернативная

точка зрения заключается в том, что реформы должны проводиться постепенно, с учетом существующих институтов, и должны быть направлены на снятие ограничений, сдерживающих рост, а не на всестороннюю единовременную либерализацию (World Bank, 2005). Успешность экономических реформ в Индии и Китае, которые проводились постепенно и не следовали рекомендациям МВФ, подтверждает правоту этой точки зрения (Rodrik, 2006).

Как бы то ни было, итогом имплементации указанных мер в постсоветских странах, в условиях технологической отсталости экономики и неразвитости других институтов, необходимых для нормальной работы рынка, стало развитие «дикого капитализма», резкое снижение уровня жизни, деиндустриализация, формирование узкого слоя богатых элит и обнищание широких слоев населения. На мой взгляд, становление путинского режима в России во многом обязано именно неолиберальной «шоковой терапии».

Что касается Украины, с точки зрения гипотезы переломных моментов, предложенной Аджемоглу и Робинсоном (Acemoglu, Robinson, 2012), Евромайдан является точкой перелома, открывающей Украине путь к имплементации инклюзивных институтов и транзиту к либерально-демократической модели общества. Помимо спорности самой концепции, которая была основательно раскритикована после выхода книги¹²,

¹² См., например, Д. Грин (Green, 2012) – там же есть ссылки на другие рецензии. Аджемоглу и Робинсон считают первым элементом решения проблемы бедности политическую инклюзию путем расширения прав и возможностей (empowerment) и, по сути, не различают либеральную и электоральную демократию. Фактически, они предполагают, что либеральные институты установятся в результате народного революционного движения, в соответствии с распространенным представлением, что

проблема заключается в том, что проводимые в настоящее время реформы в Украине имеют неолиберальную направленность, и многие из них навязываются извне под угрозой дефолта. С высокой вероятностью они приведут к росту протестных настроений и таким трансформациям социальной структуры, которые будут играть на руку популизму.

Итак, неолиберализм является современной идеологией, ориентированной на реконструирование общества на основе утопического видения. Несмотря на продвигаемый идеал свободы, он порождает новые формы принуждения, несвободы и протест против них. Став ответом на кризис неокейнсианской экономики в 1970-е, неолиберальная глобализация способствовала бурному экономическому росту в последней трети XX века. Она принесла с собой идеи плюрализма, свободы выбора, индивидуализма, толерантности, эмансипацию от власти государства, рост уровня потребления. Обратной стороной этого стали такие изменения экономической, политической и социальной сфер, которые повлекли за собой усиление глобализированных элит и ослабление политического влияния масс, породив кризис либеральной демократии. Глобальный экономический кризис 2008 года сделал эти изменения очевидными, вызвав волну протеста, которая в разных странах получает очень разное наполнение, но в целом имеет форму противостояния масс «коррупцированным» элитам. Это вызывает тревогу, и многие авторы (Atkinson, 2015; Rodrik, 2011; Stiglitz, 2012; Piketty, 2014; Ikenberry, 2018) говорят о необходимости вернуться к

они соответствуют обществу в его естественном состоянии. Это очень спорная установка – те же Норт, Уоллис и Вайнгаст придерживаются иной точки зрения.

некоему варианту неокейнсианства и социал-демократической политики, чтобы восстановить баланс между либерализмом и демократией.

Как мы видели, современность сохраняет внутреннее напряжение, присущее программе модерна: противоречие между свободой и равенством, между нормативным идеалом и практиками, между либеральным индивидуализмом и демократическим самоуправлением. Кризисные же явления современности, подпадающие под диагноз «демомодернизации», можно понять как *проявление внутренних противоречий, присущих программе модерна* – в частности, как результат воплощения в жизнь модерна идеала свободы в его неолиберальной трактовке.

Библиография

- Ананьин, Олег, Хаиткулов, Руслан, Шестаков, Даниил, 2010. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв. *Мировая экономика и международные отношения*, 12: 15–27.
- Кунц, Клаудия, 2007. *Совесть нацистов*. М.: Ладомир.
- Руссо, Жан Жак, 1998. *Об общественном договоре*. Москва: КАНОН-пресс, Кучково поле.
- Тесля, Андрей, 2011. Миф «Общей воли». *Политическая теория и риторика чувств Жан Жака Руссо*. URL (дата доступа 15.05.2018): <http://suzhdenia.ruspole.info/node/1096>.

- Эткинд, Александр, 2013. Петромачо, или Механизмы демодернизации в ресурсном государстве. *Неприкосновенный запас*, 2(88). URL (дата доступа 24.04.2018): <http://magazines.russ.ru/nz/2013/2/e16.html>.
- Acemoglu Daren, Robinson James A., 2012. *Why nations fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. New York: Crown Publishers.
- Aloysius, G, 2015. Demystifying Modernity. In Defene of a Singular and Normative Ideal. Bringel, Breno M., Domingues, Jose M., eds. *Global Modernity and Social Contestation*. SAGE, pp. 70-86.
- Arnason, Johann, 1989. The Imaginary Constitution of Modernity. *Revue européenne des sciences sociales*, 27 (86): 323-337.
- Arnason, Johann, 2005. Alternating Modernities. The Case of Czechoslovakia, *European Journal of Social Theory*, 8(4): 435-451.
- Atkinson, Anthony B., 2015. *Inequality: What Can Be Done?* Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press.
- Bauman. Zigmund, 1989. *Modernity and the Holocaust*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- de Benoist, Alain, 1998. Hayek: A Critique. *Telos: Critical Theory of the Contemporary*, 110: 71-104.
- Berlin, Isaiah, 1969. *Four Essays on Liberty*. London: Oxford University Press.
- Boltanski, Luc, Chiapello, Eve, 2005. *The New Spirit of Capitalism*. London-New-York: Verso.

- Clarke, Simon, 2005. The Neoliberal Theory of Society. Saad-Filho, Alfredo, Johnston, Deborah. *Neoliberalism – A Critical Reader*, London: Pluto Press, pp. 50-59.
- Colgan, Jeff D., Keohane, Robert O., 2017. The Liberal Order is Rigged. Fix It Now or Watch It Wither. *Foreign Affairs*, 96(3): 36-44.
- Crouch, Colin, 2011. *The Strange Non-death of Neo-liberalism*. Cambridge: Polity Press.
- Crouch, Colin, 2017. *Can Neoliberalism be Saved from Itself?* London: Social Europe Ltd.
- Dunkombe, Constance, Dunne, Tim, 2018. After Liberal World Order. *International Affairs*, 94(1): 25-42.
- Eisenstadt, Shmuel Noah, 2000. *Fundamentalism, Sectarianism and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eisenstadt, Shmuel Noah, 1973. *Tradition, Change and Modernity*. New York: John Wiley & Sons.
- Eisenstadt, Schmucl N., Riedel Jens, Sachsenmaier, Dominic, 2002. The Context of the Multiple Modernities Paradigm. Sachsenmaier, Dominic, Eisenstadt, Schmucl, Riedel, Jens, eds., *Reflections on Multiple Modernities: European, Chinese and Other Interpretation*. Leiden; Boston; Koeln: Brill.
- Eisenstadt, Shmuel N., Schluchter, Wolfgang, 1998. Paths to Early Modernities: A Comparative View. *Daedalus*, 127(3): 1-18.

Emmott, Bill, 2017. *The Fate of the West: the Battle to Save the World's Most Successful Political Idea*, New York: Public Affairs.

Fawcett, Edmund, 2014. *Liberalism: the Life of an Idea*. Princeton-Oxford: Princeton University Press.

Friedman, Milton, 1992. *Capitalism and Freedom*. Chicago and London: The Chicago University Press.

Fukuyama, Francis, 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Avon Book.

Giddens, Anthony, 1991. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.

Giddens, Anthony, 1985. *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity Press.

Green, Duncan, 2012. Why 'Why Nations Fail' Fails (Mostly): Review of Acemoglu and Robinson - 2012's Big Development Book. *The World Bank*. URL (accessed 12.04.2018): <https://blogs.worldbank.org/publicsphere/why-why-nations-fail-fails-mostly-review-acemoglu-and-robinson-2012s-big-development-book>

Habermas, Jurgen, 1981. *Theorie des kommunikativen Handelns*. (Bd. 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft), Frankfurt am Main.

Harvey, David, 2005. *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford-New York: Oxford University Press.

Hay, Colin, Hunt, Tom, 2018. *The Coming Crisis*. Palgrave Macmillan.

- Hill, Douglas, Wald, Nave, Guiney, Tess, 2016. Development and Neoliberalism. Springer, Simon, Birch, Kean and MacLeavy, Julie, eds., *The Handbook of Neoliberalism*, New York and London: Routledge: 130-142.
- Hoppe, Hans-Hermann, 1998. The Case for Free Trade and Restricted Immigration. *The Journal of Libertarian Studies*, 13(2): 221-233.
- Ikenberry, G. John, 2018. The End of Liberal International Order. *International Affairs*, 94(1): 7-23.
- Inglehart, Ronald, Welzel, Christian, 2005. *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jones, Charles I., Klenow, Peter J., 2016. Beyond GDP? Welfare across Countries and Time. *American Economic Review*, 106(9): 2426–2457.
- Kaye, James, Strath, Bo (eds.), 2000. *Enlightenment and Genocide: Contradictions of Modernity*. P.I.E. - Peter Lang.
- Krastev, Ivan, 2018. Eastern Europe's Illiberal Revolution: The Long Road to Revolution Decline. *Foreign Affairs*, 97(3): 49-56.
- Laclau, Ernesto, 2005. *On Populist Reason*. London-New-York: Verso.
- Lipset, Seymour M., 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 53(1): 69-105.
- Luce, Edward, 2017. *The retreat of western liberalism*. New York: Atlantic Monthly Press.

- Mann, Michael, 2005. *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge University Press.
- Mann, Michael, 2013. *The Sources of Social Power. Volume 4. Globalizations, 1945-2011*. Cambridge University Press.
- Milanovic, Branco, 2016. *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Minakov, Mikhail, 2018. *Development and Dystopia: Studies in post-Soviet Ukraine and Eastern Europe*. Stuttgart: ibidem-Verlag.
- Moore, Barrington, 1966. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. London: Penguin University Books.
- Mudde, Cas, Kaltwasser Cristobal R., 2017. *Populism – A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Nino-Zarazua, Miguel, Roope, Laurence, Tarp, Finn, 2016. Global Inequality: Relatively Lower, Absolutely Higher. *Review of Income and Wealth*. URL (accessed 20 July 2017): <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/roiw.12240/full>.
- North, Douglass C., Wallis, John Joseph, Weingast, Barry R., 2009. *Violence and Social Orders*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Patterson, Orlando, 2014. *The Privatization of Freedom in America: Its Meaning and Consequences*. Working Paper. URL (accessed 3 March 2018): <https://scholar.harvard.edu/patterson/publications/privatization-freedom-america-its-meaning-and-consequences>.

- Piketty, Thomas, 2014. *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge: Harvard University Press.
- Pirie, Iain, 2013. Globalization and the Decline of the Developmental State. Fine, Ben, Saraswati, Jyoti, Tavasci, Daniela, eds., *Beyond the Developmental State: Industrial Policy into the Twenty-First Century*, London: Pluto Press:146-168.
- Rabkin, Yakov M., 2018. Undoing Years of Progress. Rabkin, Yakov, Minakov, Mikhail, eds., *Demodernization: The Future in the Past*. Stuttgart: *ibidem*-Verlag: 17-47.
- Rodrik, Dani, 2011. *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of World Economy*, New York-London: W.W.Norton&Company.
- Rodrik, Dani, 2006. *Good Bye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?* Paper Prepared for Journal of Economic Literature. URL (accessed 15 October 2016): <https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/goodbye-washington.pdf>.
- Sachsenmaier, Dominic, 2002. Multiple Modernities – the Concept and Its Potential. Sachsenmaier, Dominic, Eisenstadt, Schmucl, Riedel, Jens, eds., *Reflections on Multiple Modernities: European, Chinese and Other Interpretation*, Leiden; Boston; Köln: Brill.
- Sandel, Michael J., 2009. *Justice: What's the Right Thing to Do*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Singh, Anoop, Belaisch, Agnes, Collyns, Charles, Masi, Paula de, Krieger, Reva, Meredith, Guy, Rennhack, Robert, 2005. *Stabilization and Reform in Latin*

- America: A Macroeconomic Perspective on the Experience Since the Early 1990s*. IMF Occasional Paper 238. URL (accessed 1.08.2017): <https://www.imf.org/external/pubs/ft/op/238/pdf/foreword.pdf>.
- Spicker, Paul, 1985. Why Freedom Implies Equality. *Journal of Applied Philosophy*, 2(2): 205-216.
- Stankov, Petar, 2017. *Economic Freedom and Welfare Before and After the Crisis*. Palgrave Macmillan.
- Stiglitz, Joseph, 2012. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W.Norton&Company.
- Streeck, Wolfgang, 2011. The Crises of Democratic Capitalism. *New Left Review*, 71: 5-29.
- Temin, Peter. 2017. *The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Therborn, Goran, 1995. *European Modernity and Beyond. The Trajectory of European Societies, 1945-2000*. London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications.
- Thorsen, Dag, Lie, Amund, 2006. *What is Neoliberalism?* Oslo, University of Oslo, Department of Political Science. Discussion Paper. URL (accessed online 5.03.2018): <http://folk.uio.no/daget/neoliberalism.pdf>.
- Urbinati, Nadya, 2014. *Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People*. Harvard University Press, 2014.
- Voegelin, Eric, 1975. *From Enlightenment to Revolution*. Edited by John H. Hallowell. Durham, North Carolina: Duke University Press.

- Wagner, Peter, 2008. *Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Wagner, Peter, 1994. *Sociology of Modernity: Liberty and Discipline*. London&New York: Routledge.
- World Bank, 2005. *Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform*, Washington, DC, World Bank.
- Wittrock, Bjorn, 2000. Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition. *Daedalus*, 129(1): 31-60.
- Yakupec, Viktor, 2018. *Development Aid – Populism and the End of Neoliberal Agenda*. Springer: Briefs in Philosophy.
- Yak, Bernard, ed.,1996. *Liberalism without Illusions: Essays on Liberal Theory and the Political Vision of Judith N. Shklar*. Chicago&London: The University of Chicago Press.
- Yack, Bernard, 1997. *The Fetishism of Modernities: Epochal Self-Consciousness in Contemporary Social and Political Thought*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Zakaria, Farid, 2013. Can America Be Fixed? The New Crisis of Democracy. *Foreign Affairs*, 92(1): 22-33.
- Zakaria, Farid, 1997. The Rise of Illiberal Democracy. *Foreign Affairs*, 76 (6): 22-43.